## X

Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха.

Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера, а ротный командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными.

Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в область предания, жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части «Инвалида». Всякие развлечения, вроде танцев, любительских спектаклей и т. п., он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, — и это могло быть правдой, — что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал-послушал и вдруг крикнул денщику:

— З-захарчук! П-прогони эту п-тицу ка-камнем. М-мешает…

Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами в не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости: денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя суммами от вольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытнее и веселее, чем у него.

Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, на ученье субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:

— От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу.

Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял:

— З-за исключением г-господ офицеров и подпрапорщика.

Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту, и это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали заметив подпоручика, Слива командовал роте «смирно», точно устраивая опоздавшему иронически-почетную встречу, а сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростною вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко, о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор.

«Эх, все равно уж! — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте. — И здесь плохо, и там плохо, — одно к одному. Пропала моя жизнь!»

Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель стояли посредине плаца и все вместе обернулись на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя — сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами, и ему стало еще неприятнее.

«Но, может быть, это вовсе не так уж позорно? — пробовал он мысленно себя утешить, по привычке многих застенчивых людей. — Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим, право, все равно. Ну, вот, я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов, а я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну, и ничего особенного: Лбов — как Лбов… Все пустяки, — решил он наконец и сразу успокоился. — Положим, совестно… Но ведь не месяц же это будет длиться, и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается».

Против обыкновения, Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него, с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на пять холодных сосисок:

— Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за пять минут до прихода старшего субалтерн-офицера и за десять до ротного командира.

— Виноват, господин капитан, — деревянным голосом ответил Ромашов.

— От, извольте, — виноват!.. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам.

Вся рота была по частям разбросана по плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами, на шаг расстояния друг от друга, с расстегнутыми, для облегчения движений, мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полуроты Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза:

— Подымание на носки и плавное приседание. Рук-и-и… на бедр!

И потом затянул, нараспев, низким голосом:

— Начина-а-ай!

— Ра-аз! — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки, а Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом.

А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сероштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом:

— Выпад с левой и правой ноги, с выбрасываньем соответствующей руки. — Товсь! Начинай. Ать-два, ать-два! — И десять молодых здоровых голосов кричали отрывисто и старательно: — Гау, гау, гау, гау!

— Стой! — выкрикнул пронзительно Сероштан. — Ла-апшин! Ты там что так семетрично дурака валяешь! Суешь кулаками, точно рязанская баба уфатом: хоу, хоу!.. Делай у меня движения чисто, матери твоей черт!

Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпрапорщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема раскачался, и вдруг, описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко, по-кошачьи, присел на землю.

— Подпрапорщик Лбов! Опять фокусничаете! — притворно-строго окрикнул его Слива. Старый «бурбон» в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава. — Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на святой неделе.

— Слушаю, господин капитан! — весело гаркнул Лбов. — Слушаю, но не исполняю, — добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову.

Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечания.

— Не болтай ногами. Носки уверх!

Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлебникова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых, как будто раз навсегда с самого дня рождения, застыл тупой, покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести.

Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник.

— Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся-а! — кричал унтер-офицер. — Ну, уверх!

Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос. И вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.

— А-а! Не желаешь делать емнастические упражнения! — заорал унтер-офицер. — Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я т-тебе!

— Шаповаленко, не сметь драться! — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева. — Не смей этого делать никогда! — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо.

Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.

— Слушаю, ваше благородие. Только позвольте вам доложить: никакой с им возможности нет.

Хлебников стоял рядом, сгорбившись; он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу.

После гимнастики, когда людям дан был десятиминутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца, у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде.

— От, извольте угадать, где нарвешься! — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водянистые глаза. — То есть, скажу я вам: именно, у каждого генерала своя фантазия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все побоку. С утра до вечера строили всякие ложементы, матери их бис! Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир десятой роты, капитан Алейников, царство ему небесное, был представлен к Анне за то, что в два часа построил какой-то там люнет чи барбет.

— Ловко! — вставил Лбов.

— Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлыч, — стрельба при генерале Арагонском.

— А! Примостився стреляти? — засмеялся Веткин.

— Что это такое? — спросил Ромашов.

Слива презрительно махнул рукой.

— А это то, что тогда у нас только и было в уме что наставления для обучения стрельбе. Солдат один отвечал «Верую» на смотру, так он так и сказал, вместо «при Понтийстем Пилате» — «примостився стреляти». До того головы всем забили! Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза — был прицельный глаз.

— А помните, Афанасий Кириллыч, как теорию зубрили? — сказал Веткин. — Траектория, деривация… Ей-богу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату: вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь? «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола». Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллыч?

— Ну, как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. Десять процентов свыше отличного — от, извольте. Однако и жулили мы, б-батюшки мои! Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на пять пуль больше, чем выпустили. Сто пять процентов попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать.

— А при Слесареве, помните шрейберовскую гимнастику?

— Еще бы не помнить! Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы их драл! Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется — приидите, последнее целование. Прежде по крайности знали, что с тебя спросят, а теперь? Ах помилуйте, солдатик — ближний, нужна гуманность. Дррать его надо, расподлеца! Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы! Не знаешь теперь, чему солдата и учить. От, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку…

— Да, это не шоколад! — сочувственно кивнул головой Веткин.

— Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь! Ну-ка, попробуй — посторонись-ка. Сейчас приказ: «У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает».

— Лукавый старикашка, — сказал Веткин. — Он в К-ском полку какую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать: «Ложись!» Тот помялся, однако командует: «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах давай пушить командира: «Как ведете роту! Белоручки! Неженки! Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир — баба! На абвахту!»

— А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина! А ударить его, каналью, не смей. Не-е-ет… Помилуйте — он личность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких личностев не было, и лупили их, скотов, как Сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует!

— Бить солдата бесчестно, — глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов. — Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно!

Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими седеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.

— Что т-тако-е? — протянул он тоном крайнего презрения.

Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось, точно во всем теле сразу.

— Я сказал, что это нехорошо… Да, и повторяю… вот что, — сказал он несвязно, но настойчиво.

— Скажит-те пож-жалуйста! — тонко пропел Слива. — Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В а-атличнейшем виде. Не хуже меня.

Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом:

— Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка.

— Что-с? — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался. — Однако довольно-с этой чепухи-с, — сказал он сухо. — Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью двадцать пять лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу, — закончил он сердито.

Он резко повернулся к офицерам спиной.

— Охота вам было ввязываться? — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым. — Сами видите, что эта слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите, — он вас под арест законопатит.

— Да послушайте, Павел Павлыч, это же ведь не служба, это — изуверство какое-то! — со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов. — Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами! Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество.

— Ну да, это, конечно, так, — подтвердил равнодушно Веткин и зевнул.

А Ромашов продолжал с горячностью:

— Ну кому нужно, зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? Ах, я совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только три дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называет подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной и мы вместе пили пиво, закричал на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик, а во-вторых… во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином!» И я встал и стоял перед ним как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлыч. Мне все это до такой степени надоело и опротивело!..

## XIV

Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошливым. Приехали за три версты в Дубечную. Так называлась небольшая, десятин в пятнадцать, роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных, могучих столетних дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами.

Прямо на земле разостлали скатерти и стали рассаживаться. Дамы устанавливали закуски и тарелки, мужчины помогали им с шутливым, преувеличенно любезным видом. Олизар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову, в виде колпака, и представлял повара Лукича из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно вперемежку с кавалерами. Приходилось полулежать, полусидеть в неудобных позах, это было ново и занимательно, и по этому поводу молчаливый Лещенко вдруг, к общему удивлению и потехе, сказал с напыщенным и глупым видом:

— Мы теперь возлежим, точно древнеримские греки.

Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Тальмана, а с другой — Ромашова. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно-красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое, лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к Ромашову и смотрела на него молча, может быть только полусекундой больше, чем следовало бы, немного больше, чем всегда, но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонятную ему, горячую, притягивающую силу.

Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись тишины, он заговорил низким грудным голосом, который сочными волнами заколебался в чистом воздухе леса:

— Ну-с, господа… Выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей бог всякого счастья и чин генеральши.

И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во всю мочь своей страшной глотки:

— Урра!

Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гулкие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, сидевший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навзничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закричали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов нарочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой стакан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расширились, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашевелились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отвернулась и, смеясь, заговорила с Тальманом. «Что она сказала, — думал Ромашов, — ах, что же она сказала?» Это волновало и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и старался воспроизвести губами те же движения, какие делала Шурочка; он хотел поймать таким образом эти слева в своем воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый?», «Люблю вас?», «Ромочка?» — Нет, не то. Одно он знал хорошо, что сказанное заключалось в трех слогах.

Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на будущей службе в генеральном штабе, пили в таком духе, точно никогда и никто не сомневался, что ему действительно удастся, наконец, поступить в академию. Потом, по предложению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ромашова; пили за присутствующих дам, и за всех присутствующих, и за всех вообще дам, и за славу знамен родного полка, и за непобедимую русскую армию…

Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал сипло, но растроганно:

— Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого, нашею обожаемого монарха, за которого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови!

Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой, свистящей фистулой, потому что у него не хватило в груди воздуху. Его цыганские, разбойничьи черные глаза с желтыми белками вдруг беспомощно и жалко заморгали, и слезы полились по смуглым щекам.

— Гимн, гимн! — восторженно потребовала маленькая толстушка Андрусевич.

Все встали. Офицеры приложили руки к козырькам. Нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще, и всех громче, всех фальшивее, с липом еще более тоскливым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан Лещенко.

Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в полку: в гостях друг у друга, в собрании, на торжественных обедах и пикниках. Говорили уже все сразу, и отдельных голосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая много белого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову.

— Я не люблю этих провинциальных пикников, в них есть что-то мелочное и пошлое, — сказала она. — Правда, это нужно было сделать для мужа, перед отъездом, но боже, как все это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в саду, — вы знаете, какой у нас прекрасный сад — старый, тенистый. И все-таки, не знаю почему, я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива! Нет, Ромочка, милый, я знаю почему, и я вам это потом скажу, я вам потом скажу… Я скажу… Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю.

Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, а во всем лице было что-то манящее и обещающее и мучительно-нетерпеливое. Оно стало бесстыдно-прекрасным, и Ромашов, еще не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страстное волнение, овладевшее Шурочкой, чувствовал по той сладостной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и по его груди.

— Вы сегодня необыкновенны. Что с вами? — спросил он шепотом.

Она вдруг ответила с каким-то наивным и кротким удивлением:

— Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите: небо голубое, свет голубой… И у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какал-то голубая радость! Налейте мне еще вина, Ромочка, мой милый мальчик…

На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько ртов зараз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый, решительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это выражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее.

— Ерунда! — воскликнул он резко. — Я утверждаю, что все это ерунда. Война выродилась. Все выродилось на свете. Дети родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы. «Ах, кровь! Ах, я падаю в обморок!» — передразнил он кого-то гнусавым тоном. — И все это оттого, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной войны. Разве это война? За пятнадцать верст в тебя — бах! — и ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, подумаешь, доблесть! Взяли тебя в плен. «Ах, миленький, ах, голубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли?» У-у! — Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар. — В средние века дрались — это я понимаю. Ночной штурм. Весь город в огне. «На три дня отдаю город солдатам на разграбление!» Ворвались. Кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин — обнаженных, прекрасных, плачущих — тащили за волосы. Жалости не было. Они были сладкой добычей храбрецов!..

— Однако вы не очень распространяйтесь, — заметила шутливо Софья Павловна Тальман.

— По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали вороны. А под виселицами горели костры и пировали победители. Пленных но было. Зачем пленные? Зачем отрывать для них лишние силы? А-ах! — яростно простонал со сжатыми зубами Осадчий. — Что это было за смелое, что за чудесное время! А битвы! Когда сходились грудь с грудью и дрались часами, хладнокровно и бешено, с озверением и с поразительным искусством. Какие это были люди, какая страшная физическая сила! Господа! — Он поднялся на ноги и выпрямился во весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дерзостью. — Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынесли золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но к пью… Если даже никто не присоединится ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость!

Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бек-Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин вскочила в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали, крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов.

— О, о!.. Вот это… вот, я понимаю!! А! — Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего. — К черту эту кислятину! К черту жалость! А! Р-руби!

Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная, родовая кровожадность. Он, с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и, вдруг выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих.

— Бек! Сумасшедший! Дикарь! — закричали дамы.

Бек-Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых с шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, исподлобья, но с вызовом обводили присутствующих.

Ромашов слушал в не слушал Осадчего. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, не существующим на земле напитком. Ему казалось, что теплая, нежная паутина мягко и лениво окутывает все его тело и ласково щекочет и наполняет душу внутренним ликующим смехом. Его рука часто, *как будто* неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки, но ни он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точно дремал. Голоса Осадчего и Бек-Агамалова доносились до него из какого-то далекого, фантастического тумана и были понятны, но пусты.

«Осадчий… Он жестокий человек, он меня не любит, — думал Ромашов, и тот, о ком он думал, был теперь не прежний Осадчий а новый, страшно далекий, и не настоящий, а точно движущийся на экране живой фотографии. — У Осадчего жена маленькая, худенькая, жалкая, всегда беременная… Он ее никуда с собой не берет… У него в прошлом году повесился молодой солдат… Осадчий… Да… Что такое Осадчий? Вот теперь Бек кричит… Кто этот человек? Разве я его знаю? Да, я его знаю, но почему же он такой странный, чужой, непонятный мне? А вот кто-то сидит со мною рядом… Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой радости. Голубая радость!.. Вон против меня сидит Николаев. Он недоволен. Он все молчит. Глядит сюда мимоходом, точно скользит глазами. Ах, пускай сердится — все равно. О, голубая радость!»

Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на полянку. Младшая Михина вдруг спохватилась:

— Господа, а что же фиалки? Здесь, говорят, пропасть фиалок. Пойдемте собирать.

— Поздно, — заметил кто-то. — Теперь в траве ничего не увидишь.

— Теперь в траве легче потерять, чем найти, — сказал Диц, скверно засмеявшись.

— Ну, тогда давайте разложим костер, — предложил Андрусевич.

Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня поднялся к небу. Точно испуганные, сразу исчезли последние остатки дня уступив место мраку, который, выйдя из рощи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепетали по вершинам дубов и казалось, что деревья зашевелились, закачались, то выглядывая в красное пространство света, то прячась назад в темноту.

Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклянных колпаках. Молодые офицеры шалили, как школьники. Олизар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, маленький, неловкий Михин два раза подряд бросал на землю своего более высокого и стройного противника. Потом стали прыгать через огонь. Андрусевич представлял, как бьется об окно муха и как старая птичница ловит курицу, изображал, спрятавшись за кусты, звук пилы и ножа на точиле, — он на это был большой мастер. Даже и Диц довольно ловко жонглировал пустыми бутылками.

— Позвольте-ка, господа, вот я вам покажу замечательный фокус! — закричал вдруг Тальман. — Здэсь нэт никакой чудеса или волшебство, а не что иной, как проворство рук. Прошу почтеннейший публикум обратить внимание, что у меня нет никакой предмет в рукав. Начинаю. Ейн, цвей, дрей… алле гоп!..

Он быстро, при общем хохоте, вынул из кармана две новые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой.

— Винт, господа? — предложил он. — На свежем воздухе? А?

Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты, Лещенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Николаев долго с ворчливым неудовольствием отказывался, но его все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством оглядывался назад, ища глазами Шурочку, но так как из-за света костра ему трудно было присмотреться, то каждый раз его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, мучительное и некрасивое выражение.

Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре окончилась, после того как старшая Михина, которую поймал Дин, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования и обиды, но причины она все-таки не объяснила.

Ромашов пошел в глубь рощи по узкой тропинке. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспешно шла к нему — легкая и стройная, мелькая, точно светлый лесной дух, своим белым платьем между темными стволами огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он ощущал, как под его рукой бьется ее сердце.

— Сядем, — сказала Шурочка.

Она опустилась на траву и стала поправлять обеими руками волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он, глядя на нее, видел только нежные и неясные очертания ее шеи и подбородка.

Вдруг она спросила тихим, вздрагивающим голосом:

— Ромочка, хорошо вам?

— Хорошо, — ответил он. Потом подумал одну секунду, вспомнил весь нынешний день и повторил горячо: — О да, мне сегодня так хорошо, так хорошо! Скажите, отчего вы сегодня такая?

— Какая?

Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза, и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову.

— Вы чудная, необыкновенная. Такой прекрасной вы еще никогда не были. Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то новое, загадочное, я не понимаю что… Но… вы не сердитесь на меня, Александра Петровна… вы не боитесь, что вас хватятся?

Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласковый смех отозвался в груди Ромашова радостной дрожью.

— Милый Ромочка! Милый, добрый, трусливый, милый Ромочка. Я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет? Но знаете? Я в вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не воображайте, это завтра же пройдет…

Ромашов протянул к ней руки, ища ее тела.

— Александра Петровна… Шурочка… Саша! — произнес он умоляюще.

— Не называйте меня Шурочкой, я но хочу этого. Все другое, только не это… Кстати, — вдруг точно вспомнила она, — какое у вас славное имя — Георгий. Гораздо лучше, чем Юрий… Гео-ргий! — протянула она медленно, как будто вслушиваясь в звуки этого слова. — Это гордо.

— О милая! — сказал Ромашов страстно.

— Подождите… Ну, слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один только красный фонарь, новое пианино блестело, два окна с красными занавесками, — все было красное. Где-то играла музыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали… Нет, нет, только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались ногами пола, а точно плавали в воздухе я кружились, кружились, кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так невыразимо чудно-приятно… Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне?

Ромашов не сразу ответил. Он точно вступил в странную, обольстительную, одновременно живую и волшебную сказку. Да сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи, и внимательные, притихшие деревья кругом, и странная, милая женщина в белом платье, сидевшая рядом, так близко от него. И, чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был сделать над собой усилие.

— Конечно, летаю, — ответил он. — Но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху: как будто они ходят вверх ногами. Они меня старались достать половой щеткой, но не могли. А я все летаю и все смеюсь. Теперь уж этого нет, теперь я только прыгаю, — сказал Ромашов со вздохом. — Оттолкнусь ногами и лечу над землей. Так, шагов двадцать — и низко, не выше аршина.

Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее локтем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она продолжала задумчиво:

— И вот, после этого сна, утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, сама к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше четырех. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня?

В пол-аршина от лица Ромашова лежали ее ноги, скрещенные одна на другую, две маленькие ножки в низких туфлях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узором. С отуманенной головой, с шумом в ушах, Ромашов вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому, холодному, сквозь чулок, телу.

— Ромочка… Не надо, — услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно ленивый голос.

Он поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной лесной сказкой. Ровно подымалась по скату вверх роща с темной травой и с черными, редкими, молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной, высокой чертой горизонта рдела узкая полоса зари — не красного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя, преломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе, между черных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная прекрасная белая женщина.

Ромашов придвинулся, к ней ближе. Ему казалось, что от лица ее идет бледное сияние. Глаз ее не было видно — вместо них были два больших темных пятна, но Ромашов чувствовал, что она смотрит на него.

— Это сказка! — прошептал он тихо одним движением рта.

— Да, милый, сказка…

Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой, теплой, душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом:

— Саша… я люблю вас… Я люблю…

Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее знакомо-незнакомое лицо. Он жадными, пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом:

— Нет, нет, нет… Мой милый, нет…

— Дорогая моя… Какое счастье!.. Я люблю тебя… — твердил Ромашов в каком-то блаженном бреду. — Я люблю тебя. Посмотри: эта ночь, и тишина, и никого, кроме нас. О счастье мое, как я тебя люблю!

Но она говорила шепотом: «нет, нет», тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом:

— Ромочка, зачем вы такой… слабый! Я не хочу скрывать, меня влечет к вам, вы мне милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, по я о вас всегда думаю, я вижу вас во сне, я… чувствую вас… Меня волнует ваша близость и ваши прикосновения. Но зачем вы такой жалкий! Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный! — Она сняла с головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы. — Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!..

— Я сделаю, я сделаю это! — тихо воскликнул Ромашов. — Будьте только моей. Идите ко мне. Я всю жизнь…

Она перебила его, с ласковой и грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне:

— Верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О, если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка, славный мой. Я слышала, какая-то легенда говорит, что бог создал сначала всех людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут целые века одна половинка другую — и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами — эти две половинки; у нас все общее: и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни.

— Да, я знаю.

— Он говорил тебе? — спросила Шурочка быстро.

— Нет, это вышло случайно. Я знаю.

Они замолчали. На небе дрожащими зелеными точечками загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погруженная в мягкий мрак, была полна священной, задумчивой тишиной. Костра отсюда не было видно, но изредка по вершинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зарницы, мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка тихо гладила голову и лицо Ромашова; когда же он находил губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту.

— Я своего мужа не люблю, — говорила она медленно, точно в раздумье. — Он груб, он нечуток, неделикатен. Ах, — это стыдно говорить, — но мы, женщины, никогда не забываем первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив. Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским. Выпытывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предположения, фу… Задает мерзкие вопросы. Господи! Это же был невинный полудетский роман! Но он от одного его имени приходит в бешенство.

Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее рука, гладившая его голову.

— Тебе холодно? — спросил Ромашов.

— Нет, милый, мне хорошо, — сказала она кротко.

И вдруг с неожиданной, неудержимой страстью она воскликнула:

— Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!

Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам:

— Скажи мне… Прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что не любишь его… Зачем же вы вместе?..

Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь.

— Однако поздно. Пойдемте. Еще начнут разыскивать, пожалуй, — сказала она другим, совершенно спокойным голосом.

Они встали с травы и стояли друг против друга молча, слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их.

— Прощай! — вдруг воскликнула она звенящим голосом. — Прощай, мое счастье, мое недолгое счастье!

Она обвилась руками вокруг его шеи и прижалась горячим влажным ртом к его губам и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом, от ног до груди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую, и что время остановилось.

Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала твердо:

— Прощай. Довольно. Теперь пойдем.

Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее ноги и стал целовать ее колени долгими, крепкими поцелуями.

— Саша, Сашенька! — лепетал он бессмысленно. — Отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!..

— Пойдем, пойдем, — торопила она его. — Да встаньте же, Георгий Алексеевич. Нас хватятся. Пойдемте!

Они пошли по тому направлению, где слышались голоса. У Ромашова подгибались и дрожали ноги и било в виски. Он шатался на ходу.

— Я не хочу обмана, — говорила торопливо и еще задыхаясь Шурочка, — впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу трусости. В обмане же — всегда трусость. Я тебе скажу правду: я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, пока не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для меня ужасны, они вселяют в меня омерзение. Послушай, я только сейчас, — нет, впрочем, еще раньше, когда думала о тебе, о твоих губах, — я только теперь поняла, какое невероятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства. И потом… подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе на ухо, это стыдно… потом — я не хочу ребенка. Фу, какая гадость! Обер-офицерша, сорок восемь рублей жалованья, шестеро детей, пеленки, нищета… О, какой ужас!

Ромашов с недоумением посмотрел на нее.

— Но ведь у вас муж… Это же неизбежно, — сказал он нерешительно.

Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то инстинктивно неприятное, от чего пахнуло холодком в душу Ромашова.

— Ромочка… ой-ой-ой, какой же вы глу-упы-ый! — протянула она знакомым Ромашову тоненьким, детским голосом. — Неужели вы этих вещей не понимаете? Нет, скажите правду — не понимаете?

Он растерянно пожал плечами. Ему стало как будто неловко за свою наивность.

— Извините… но я должен сознаться… честное слово…

— Ну, и бог с вами, и не нужно. Какой вы чистый, милый, Ромочка! Ну, так вот когда вы вырастете, то вы наверно вспомните мои слова: что возможно с мужем, то невозможно с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об этом. Это гадко — но что же поделаешь.

Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев было видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках мерцал красный изменчивый свет.

— Ну, а если я возьму себя в руки? — спросил Ромашов. — Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще большего? Тогда?

Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто:

— Тогда — да. Да, да, да…

Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и маленькие черные фигуры людей вокруг него.

— Ромочка, теперь последнее, — сказала Александра Петровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе. — Я не хотела портить вам вечер и не говорила. Слушайте, вы не должны у нас больше бывать.

Он остановился изумленный, растерянный.

— Почему же? О Саша!..

— Идемте, идемте… Я не знаю, *кто* это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а только вскользь говорил об этом. Пишут какую-то грязную площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам.

— Саша! — умоляюще простонал Ромашов, протягивая к ней руки.

— Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный! Но ото необходимо. Итак, слушайте: я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом… Умоляю вас, ради бога, будьте сдержанны. Обещайте мне это.

— Хорошо, — произнес печально Ромашов.

— Ну, вот и все. Прощайте, мой бедный. Бедняжка! Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Вот так… Ой!.. Теперь прощайте. Прощай, радость моя!

Не доходя костра, они разошлись. Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу, обходом, вдоль реки. Винт еще не окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней мере Диц так нагло поглядел на подходящего к костру Ромашова и так неестественно-скверно кашлянул, что Ромашову захотелось запустить в него горящей головешкой.

Потом он видел, как Николаев встал из-за карт и, отведя Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными жестами и со злым лицом. Она вдруг выпрямилась и сказала ему несколько слов с непередаваемым выражением негодования и презрения. И этот большой сильный человек вдруг покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но затаившего злобу дикого животного.

Вскоре пикник кончился. Ночь похолодела, и от реки потянуло сыростью. Запас веселости давно истощился, и все разъезжались усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ромашов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные деревья, и темная гора, и кровавая полоса зари над ее вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про самого себя патетически:

«Его красивое лицо было подернуто облаком скорби».